

ГЛАВА 1

Лауды

Лангедок, монастырь в Верфёе. 11 февраля 1367

- Брат Антонен, мы сейчас себе яйца отморозим.
- Не пристало монаху произносить такие слова.
- Для монаха главное не слова, а истина... А истина состоит в том, что мы себе яйца отморозим.
- Холод в самом деле непомерный.
- “Холод непомерный!..” Мы с тобой из разных конюшен, брат Антонен. Будь проклят этот английский холод!
- Скорее уж францисканский холод!
- Ох уж эти говнюки францисканцы!
- Прекрати, Робер.
- К счастью, Господь защищает их не лучше, чем нас, и достойно вознаграждает за проповедь бедности. Зима — проклятье, хоть и справедливое. Говорят, они дохнут целыми тучами, как саранча, с благословения славной матушки-природы, этой злобной карги...
- Поторапливайся, мы опаздываем.
- Если бы ты не торчал в нужнике битый час, мы бы не опаздывали.
- Кишки подвели.
- Да, еда и правда дрянь.

— Ты же сам ее готовишь!

— Из того, что мне выдают, чуда не сотворишь. Я не Иисус, Антонен, и не умею превращать навоз в розовую воду.

— Слышишь? Нас зовут.

— Вот срань, это ризничий!

Сквозь туман до них доносился строгий голос. Они почти бегом припустили к клуатру. С ласточкиных гнезд, вмерзших в углы арок, свисали ледяные слезинки. Антонен и Робер обогнали старого монаха, ковылявшего в часовню на лауды — первую службу нового дня, где возносили хвалу утренней заре и воскресению.

Половина четвертого ночи. Солнце еще и не думало подниматься. Лауды были главной пыткой для монахов.

— В этот час они, наверное, и приходят...

— Кто?

— Демоны, которые являются за человеком в день его смерти... Во время лауд.

— Тише, он идет.

К ним приближалась черная фигура. Робер замедлил шаг, давая другу немного обогнать его, и первый удар обрушился на Антонена. Как обычно, самый сильный. Второй, менее чувствительный, пришелся ему по спине. Ризничий снова занес палку, и они поспешно юркнули в часовню.

— Вот спасибо, — прошипел Антонен.

— Зато все почести достались тебе!

— Почетный удар палкой?

— Между прочим, Христос за тебя муки принял.

— И за предателей тоже.

— Аминь.

Свечи дрожали, словно и им было холодно. Желтое пламя трепетало, его скудный свет зябко жался к го-

рячему фитилю. Позади них, разделяя часовню надвое, высилась стена темноты.

За ней скрывался приор.

Под коленями монахов хрустела тонкая корочка льда. Тишину то и дело нарушал кашель, но пространство медленно поглощало его звуки. Братья полчаса молились про себя под бдительным оком ризничего, который стоял над ними и высматривал задремавших.

В темной глубине, где еле теплился огонек лампы, слышалось затрудненное дыхание, пугающее, словно жалобные вздохи из потустороннего мира. Тишина и холод наводили на мысли о смерти. По спинам монахов пробегал озноб одиночества.

Громкий голос приора призвал вознести хвалы Господу:

— *Alleluia laudate dominum in sanctis eius laudate eum in firmamento virtutis eius*¹.

Антонен покосился на Робера, молившегося рядом. На странного брата Робера, который упорнее всех отлынивал от повседневных трудов, но проявлял усердие в молитве. Склонившись до земли, стиснув переплетенные пальцы, он бормотал слова псалма столь же истово и страстно, как только что поносил раннюю утреннюю службу и никчемных францисканцев и англичан.

Его вера была такой же крепкой, как и его голова.

Вера ему досталась не как подарок свыше. Он заработал ее ценой лишений и страданий. Отец не позволил ему выбирать себе путь. Просто притащил его, двенадцатилетнего, в обитель и оставил братьям, а на прощание сказал, словно припечатал: “Раз уж ты ни на что не годен, сгодишься Господу”.

¹ Хвалите Господа во святых Его; хвалите Его на тверди силы Его (*лат.*). Пс. 150:1. (*Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, — прим. перев.*)

Приор перевернул страницы книги и запел псалом; остальные подхватили, с трудом шевеля застывшими губами. От их пения свечи разгорелись ярче, их пламя колыхалось в такт дыханию монахов. Сияние самой большой свечи коснулось золоченой картинке в книге, и она засверкала, как драгоценный камень. “Аллилуйя, хвалите Господа!” — голоса зазвучали громче. Глухой колокольчик ризничего призвал всех к молчанию и к следующей покаянной молитве.

Когда они вышли из часовни, тьма уже немного поделала. Бледная полоска на восточной стороне неба подсветила на каменных стенах монастыря полосы изморози. Вода в колодце застыла, плиты в клуатре покрылись слоем льда, и монахи скользили по ним, как на коньках. Оставленные у входа в часовню накидки заиндевели и стали тускло-серыми, как рясы, в которых монахи молились в часовне, безропотно трясясь от холода. Заледневшие капюшоны торчали кверху, как колпаки ярмарочных шутов. Оскальзывающиеся на льду фигурки монахов прекрасно вписались бы в их потешную труппу.

Робер и Антонен повернули в сторону келий.

Час поспать, потом два часа поработать, и следующая служба.

— Что, если я тебе скажу, что приор не умеет читать?

— Ну и что? Я тоже не умею.

— Вернее сказать, он читает не так, как мы, — уточнил Антонен.

— Откуда ты знаешь?

— В часовне слишком темно, чтобы разглядеть без лупы хоть одну букву. Тем не менее он водит пальцем по строчкам и в нужный момент переворачивает страницы.

— Он все эти псалмы знает наизусть, так зачем ему притворяться, будто он их читает?

— Он не притворяется, он ощупывает буквы пальцами, как слепой.

— И на кой хрен ты все это мне рассказываешь?

— Речь идет о чтении, это очень важно.

Робер сдержал зевок.

— Тебя отрядили вместе со мной мыть кухню.

— Завтра?

— Да, и еще на целую неделю.

Антонен сделал вид, что не заметил насмешливого взгляда своего товарища.

— Оно вряд ли поможет тебе, когда настанет время чистить кастрюли...

— Что?

— Твое чтение.

— Почему тебя так раздражает, что я умею читать?

— Потому что ты богатенький сынок.

— Я не могу забыть все, что знаю, только чтоб тебя порадовать.

— Из-за этого ты задираешь нос.

Робер дружески хлопнул Антонена по плечу, которое пострадало от палки ризничего и все еще ныло, и у дверей своих келий они расстались.

— Пусть Господь хранит тебя в краткие минуты сна, брат Антонен, — сказал Робер.

— Храни тебя Бог, Робер.

Вознесшийся к небесам, на высоту полета воронов, бывший монастырь клюнийского ордена, ныне принадлежащий доминиканцам, выглядел таким, каким и был. Временным пристанищем. Белую каменную громаду, возвышающуюся посреди широкой прогалины, черным океаном окружал лес, со всех сторон подступая темной приливной волной. Внутри, словно крабы на прибрежных камнях, безмятежно копо-

шились монахи. Жизнь внизу имела преимущество: эти люди могли слепо довериться судьбе. Очутись они наверху, сразу почувствовали бы, что их вот-вот поглотит пучина.

Доминиканский орден, несмотря на обет бедности, не видел ничего зазорного в том, чтобы занимать прекрасные заброшенные обители богатых орденов ушедшего века. Предшественники возводили свои монастыри так, чтобы их было видно издалека, на холмах или горных отрогах, но не в долинах или низинах, где смиренно влачила в грязи братия, более приверженная евангельским заветам. Впрочем, доминиканцы презирали невежество крестьян и предпочитали города, где легче было распространять образование. Множились общины монахов, не склонных к уединению, желавших именоваться “братьями” и проявлявших больше интереса к мирским делам, нежели к одиноким размышлениям. Они были не канониками, приписанными к одному храму, и не затворниками, не покидавшими келий, — они были братьями-проповедниками. Свое предназначение они видели в том, чтобы странствовать и нести людям слово Божье.

Монастырь в глуши, такой как Верфёй, был редкостью. Но его грандиозные размеры соответствовали духу братства. Доминиканцы хранили память о воинственных основателях ордена и о его обителях, больше похожих на цитадели. Этого требовала история ордена, начавшаяся столетие назад. И начавшаяся с большой крови. Отцы-основатели снискали благосклонность папы, истребляя еретиков, вернее, благословляя мечи воинов, рубивших тем головы.

В те времена устои Церкви подрывали ереси, а еще больше — расплодившиеся продажные монахи, толсто-

брюхие, алчные, порочные. На нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев была возложена тяжелая ноша: раздавить ядовитых гадюк с их вредоносными проповедями и восстановить репутацию священнослужителей.

Стремления обоих основателей совпадали. Но не образ действия. Франциск подавал пример жизни в бедности и любви, а Доминик вдохновлял святую инквизицию, укреплявшую истинную веру в пламени костров.

Франциск взывал к сердцам заблудших людей, а Доминик — к их пеплу, и его голос звучал громче.

Страх попасть на костер сгонял людей в храмы и заставлял не замечать богословских ошибок. Диспуты свелись к простым вопросам, а добрым христианам, озабоченным чистотой религии и ее освобождением от папской власти, посоветовали предаваться размышлениям в тишине, вдали от всех. Это был полезный совет.

В монастыре когда-то укрывались катары, осажденные французскими рыцарями. Его камни были окроплены кровью отступников, кощунственно взалкавших чистоты.

Судьбы двух орденов, вылупившихся в одном гнезде, сложились по-разному. Если спустя столетие нищенствующие францисканцы вызывали жалость, то доминиканцы внушали страх.

Крепостную стену разрушать не стали, и в Верфёйском монастыре, наверное единственном в Европе, сохранился дозорный путь, и монахи бродили по нему, словно безоружные воины. Здания, выстроившиеся квадратом вокруг храма, задней стороной примыкавшего к клуатру, создавали ощущение грубой, надменной силы. Немного в сторонке раскинулся сад с огородом, где мо-

нахи выращивали целебные травы и, странствуя с проповедями, лечили ими мирян. Еще немного дальше располагалось кладбище: четыре десятка крестов отмеряли возраст монастыря, в стенах которого завершили земной путь три поколения насельников. Глубокая яма в центре кладбища была заполнена известью, уровень которой проверяли в начале каждого месяца, и накрыта бронзовой крышкой.

Никто еще не забыл о чуме.
